

Потапова Галина Евгеньевна

Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН,
Россия, 199034, Санкт-Петербург, наб. Макарова, 4
gpotap@yandex.ru

О двух контрастных подходах к интерпретации «Повестей Белкина»: В. М. Маркович и В. Шмид

Для цитирования: Потапова Г.Е. О двух контрастных подходах к интерпретации «Повестей Белкина»: В. М. Маркович и В. Шмид. *Вестник Санкт-Петербургского университета. Язык и литература*. 2018, 15 (4): 570–581. <https://doi.org/10.21638/11701/spbu09.2018.405>

В статье предпринимается сравнение методологических подходов к изучению «Повестей Белкина», предложенных в работе В. М. Марковича и в работах В. Шмида. Сопоставление проводится по следующим параметрам. 1. Динамическое рассмотрение (Маркович) — статическое рассмотрение (Шмид). 2. Инстанция смыслополагания: читатель или автор. В рамках толкования, предложенного Марковичем, порождение смысла последовательно переносится на сторону читателя («идеального» читателя, способного распознать претексты). В модели Шмида порождение смысла в конечном счете входит в компетенцию пусть «абстрактного», но автора. 3. Маркович ищет смысл литературного произведения в «сюжетном движении», осуществляемом на «поверхности текста». Шмид ищет смысл литературного произведения в «истории» (Geschichte), спрятанной за текстом. 4. Установка в отношении «новаторства» или «традиционности» предлагаемых прочтений. Так как Шмид полагает, что содержащаяся в тексте «история» не только (и не столько) явлена на «вышележащих» ступенях нарративных трансформаций, сколько намеренно затемнена используемыми на этих уровнях приемами, то, соответственно, он обнаруживает склонность к тому, чтобы пытаться «открыть» некий смысл, доселе ото всех скрытый; отсюда — стремление к интерпретациям как можно более неожиданным. На этом фоне может показаться, что осуществляемое в статье Марковича следование за смысловыми поворотами пушкинского сюжета не включает в себе чего-то ошеломляюще нового; однако ощущение «само собой разумеющегося» возникает в данном случае не из отсутствия новизны, а из адекватности прочтения интерпретируемому тексту. 5. Два разных представления о «жизнеподобии». Для Шмида неотъемлемой составной частью жизненной убедительности являются связность концепции характеров, внятность психологических мотивировок поступков. Для Марковича «жизнеподобной» является именно ограниченность нашего знания. Он подчеркивает, что наши возможности угадать происходящее в душах пушкинских героев приближены к реальным границам наших возможностей понимания «действительно существующих живых людей». Помимо того, констелляция «Маркович — Шмид» анализируется с учетом общей ситуации в российском литературоведении конца 1980-х — 2000-х годов.

Ключевые слова: А. С. Пушкин, *Повести Белкина*, нарратология, история научных методов.

Статья Владимира Марковича Марковича «„Повести Белкина“ и литературный контекст. К проблеме: классика и беллетристика», написанная в 1987 г. и впервые опубликованная в 1989 г. [Маркович 1989; 1997: 30–65], сохранила свою актуальность до сих пор. Подобное утверждение выглядит дежурно-банальным, однако на деле таковым не является. Оно продиктовано не одним лишь уважением к памяти моего университетского учителя; в нем заключается также констатация status quo в современном пушкиноведении — в той мере, в какой это последнее занимается **интерпретацией** «Повестей Белкина». Утверждать, что опубликованная почти 30 лет назад статья, в которой были предложены методологические посылки для анализа определенного текста, остается актуальной по сей день, — равносильно признанию, что открытые ею перспективы остались в дальнейшем развитии науки мало востребованными, а поставленная задача стоит, как стояла в 1987 г. Чтобы обозначить одну из причин такого положения дел, бросим ретроспективный взгляд на одну констелляцию, которая сыграла в истории развития литературоведческой науки (и, в частности, «белкиноведения») весьма неблагоприятную роль. Нижеизложенные размышления затрагивают как проблему метода, так и некоторые моменты, характеризующие общую ситуацию в отечественном литературоведении конца 1980-х — 2000-х годов.

В пушкиноведческих исследованиях последних трех десятилетий статья В. М. Марковича о «Повестях Белкина» упоминается сравнительно редко. Гораздо популярнее оказались интерпретации немецкого литературоведа Вольфа Шмида [Шмид 1989; 1994; 1996; 1998], вошедшие в русский литературоведческий обиход в значительной мере «с подачи» Марковича. С учетом долгого коллегиального сотрудничества обоих ученых (см., например, совместно изданные сборники [Маркович, Шмид (ред.) 1993; 1996; 2001; 2005]) положение дел стало для многих выглядеть следующим образом: Маркович был одной из «первых ласточек», в поздние советские годы предвещавших подключение к западному теоретическому контексту, и в 1990-е годы, в союзе с Гамбургским университетом и прежде всего с В. Шмидом, эта тенденция вышла на новый виток, успешно «снявший» в себе те проблемы, на решение которых были нацелены методологические наработки последних советских лет. Маркович и Шмид стали выглядеть в общем мнении если не «зачинателем» и «совершителем», то по крайней мере союзниками. Если взглянуть пристальнее, нетрудно понять, что это была одна из тех ситуаций, когда организационно-институциональная близость двух исследователей затушевывает глубоко лежащие различия.

Повышенное внимание к работам Шмида в постсоветские годы свидетельствовало о той притягательной силе, какой обладал предложенный немецким славистом нарратологический инструментарий. Но радужные надежды, связанные с внезапным скачком на самый, казалось бы, современный уровень методологической оснащенности, были одной из перестроечных эйфорий. Не учитывалось, что публикации Шмида — на русском языке представленные начиная с 1989 г. —

базируются на его теоретических разработках, бывших новациями в 1970-х годах [Schmid 1973; 1977; 1982], но к 1990-м давно переставших быть новыми и в западной теоретической дискуссии поставленных под сомнение сторонниками других, более гибких моделей.

Сомнения в интерпретационных результатах Шмида, особенно в отношении «Станционного зрителя» и «Выстрела», конечно, не раз высказывались российскими пушкиноведами, однако на принципиальном уровне мне известны только немногие, но глубокие замечания С. Г. Бочарова [Бочаров 1999: 80–82, 84–85, 92–93, 95]. По большей же части моральное возмущение шло из подчеркнуто «ортодоксального» лагеря, причем интерпретационные перегибы Шмида в одну сторону с лихвой искупались перегибами его оппонентов в другую, излишне «благочестивую» сторону. Что же касается «прогрессивного» или идеологически нейтрального молодого поколения российских литературоведов, то если у них и возникали сомнения в адекватности предложенных Шмидом прочтений, сомнения эти редко проговаривались публично. Методология казалась важнее интерпретации, а инструментарий Шмида был, как в те годы думалось, непогрешим. Все то, что для многих русских читателей выглядело в шмидовских интерпретациях контринтуитивным, списывалось на простительное для иностранца отсутствие восприимчивости к некоторым смысловым оттенкам пушкинских текстов. Превалировало убеждение, что сама по себе методология Шмида безупречна, а интерпретационные просчеты — всего лишь частные недочеты.

Ниже мне хотелось бы указать на то, что в интерпретационных промахах повинен не только недостаток герменевтической интуиции, но и один глуболежащий изъян той модели «нарративных трансформаций»¹, которую Шмид кладет в основу интерпретаций «Повестей Белкина», а также что подход Марковича является — с методологической точки зрения — именно что не устаревшим, а, напротив, более современным.

3

Первое и самое важное различие между подходами Марковича и Шмида — это различие между динамическим и статическим. С этим опосредованно связано второе различие: в рамках толкования, предложенного Марковичем, порождение смысла последовательно переносится на сторону читателя («идеального» читателя, способного распознать претексты). В модели Шмида порождение смысла в конечном счете входит в компетенцию пусть «абстрактного», но автора.

Маркович понимает процесс смыслопорождения как совершающийся в процессе чтения, в постепенном развертывании текста перед читателем. Улавливая сигналы, указывающие на различные претексты, читатель на каждом малом или большом отрезке повествования выстраивает свои ожидания в соответствии со знакомой ему смысловой интенцией того или иного претекста, причем из несовпадений в итоге рождается новый смысл — объемный, не поддающийся окончательной фиксации и ни к одному из старых смыслов несводимый.

¹ Уровни «событий — истории — наррации — презентации наррации» [Шмид 2003: 145–185].

Интерпретационная модель, представленная в работах Шмида, по сути статична. Анализ изменений смысла в **линейном** процессе чтения здесь не имеет большого значения; вместо того предлагается взгляд как бы *a posteriori*, с одной-единственной точки зрения. Субъектом этой точки зрения является, так сказать, «проницательный читатель», сумевший правильно реконструировать авторское понимание изложенной «истории». А стало быть, верховной инстанцией смыслополагания является в модели Шмида **автор**.

4

Таким образом, с точки зрения Марковича, рождение смысла осуществляется в самом процессе «сюжетного движения», принципиально неотделимом от словесной «поверхности» текста (ср.: [Маркович 1997: 34, 54, 56]).

Внимание Шмида устремлено на нечто такое, что, по его мнению, объективно присутствует **за текстом**, т. е. за композиционным построением и словесным облачением. Это (закрепленное, осязаемое и однозначное) нечто, ведомое **автору**, а следовательно, поддающееся реконструкции, именуется в модели Шмида «историей». Подразумевается та «история», которая «на самом деле» состоялась в фиктивной реальности художественного произведения [Шмид 2003: 158–185]².

Хотя Шмид отмежевывается от биографизма и позитивистских разысканий в области «творческой истории произведения» и подчеркивает «идеальный», т. е. чисто логический характер предшествования / последования «уровней нарративных трансформаций», модель, им отстаиваемая, является по сути генеративной: на стороне (абстрактного) автора совершается облачение существующей за текстом (и до текста) «истории» в слова; на стороне (абстрактного) читателя происходит реконструкция этой «истории», которая в процессе рождения текста была как бы замаскирована.

Из логики рассуждений Марковича вытекает, что никаких «подлинных», психологически связанных «историй», якобы скрывающихся в глубине текста, объективно не существует. Интерес читателя к реконструированию душевных движений героев «Повестей Белкина» хотя и признается закономерным, однако (с учетом того, что ход пушкинского повествования принципиально не позволяет «замкнуть» вообразимые душевные биографии) любая попытка такого рода оказывается спекулятивной, а любая реконструкция, хотя бы и выглядящая правдоподобной, объявляется стоящей **вне текста** [Маркович 1997: 50].

В работе о «Повестях Белкина», несомненно, сказался характерный для Марковича интерес к рецептивной эстетике (В. Изер и др.). Но кроме того, ход его мысли оказывается (почти до ошеломления!) близок современным позициям когнитивистски ориентированного литературоведения, — при том, что на рубеже 1980–1990-х годов когнитивистский подход, успевший завоевать твердые позиции в лингвистике, едва-едва начинал использоваться в западных теориях литературного повествования (ср.: [Jahn 1997]).

² Краткое изложение той же модели см. в другой работе Шмида [Шмид 1994: 17–25]; к сожалению, в ней в русском переводе термин «Geschehen» ‘события’ был заменен на «фабула», а «Geschichte» ‘история’ — на «сюжет».

По мнению когнитивистской школы, прежде всего англо-американской, конструирование смысла осуществляется благодаря тому, что читатель — в линейном процессе чтения — узнает «схемы» и «скрипты», и по ходу их узнавания меняется и (ре)конструкция смысла, предполагаемого читателем за повествуемыми событиями. Соотнесение такого подхода с прежней формалистской дихотомией «фабула — сюжет» с особой наглядностью было осуществлено в работе Д. Бордуэлла о повествовании в кинематографе, признанной сегодня классической [Bordwell 1985]. По мысли Бордуэлла, «фабула» является не **реконструктом** (замысла автора, хотя бы и «абстрактного»), а **конструктом** зрителя / читателя; ее конструирование осуществляется по ходу линейного движения сюжета и, на разных его поворотах, принимает разный смысл, причем разными зрителями / читателями фабула конструируется по-разному. Аналогии между подходом Бордуэлла, книга которого была впервые напечатана в США в 1985 г., и подходом, намеченным в статье Марковича 1987 г., вполне очевидны.

5

При том, что «история» (Geschichte) формально занимает промежуточную ступеньку в предложенной Шмидом «порождающей модели» нарративных трансформаций в повествовательном тексте, — на деле именно этот уровень имеет для его интерпретаторской практики центральное значение. Именно на то, чтобы «реконструировать» скрытую за поверхностью текста «историю», и должны быть направлены, по мысли Шмида, усилия читателя.

На допущении существования подобной «истории» — психологически связанной, детально мотивированной³ — следует остановиться подробнее. Именно этот момент был основной новацией Шмида в предложенной им «порождающей модели»; причем из его же собственного изложения вытекает, что прежние теоретики повествования понимали **фабулу / histoire / plot** как нечто более или менее элементарное [Шмид 2003:145–162]⁴. Хотя за «фабулой» и признавалась причинно-следственная связь, однако она выглядела скорее обнаженной схемой событий, без всяких детальных «прорисовок». В противовес тому, у Шмида «история» мыслится как некое хорошо разработанное, (реалистически) жизнеподобное «смысловое целое» [Шмид 2003: 157, 172–173], существующее еще на дотекстовом уровне (если понимать «текст» как **вербальное образование**). Данная модель предполагает, что в самом тексте (понимаемом более широко, как многоуровневая система) существует инстанция, которой ведомо «истинное» протекание душевной жизни героев, как и подробностей их внешней биографии, неучтенных или замолчанных при оформлении композиционной и словесной «поверхности» текста. На уровне этой инстанции — применительно к «Повестям Белкина» — должно существовать

³ Уточним: сомнительным является не то, что **чисто логическое** предшествование изображаемых в повествовательном тексте событий самому тексту (как словесному облачению) имеет место. Если отрешиться от некоторых подчеркнута экспериментальных опытов литературного повествования, следует согласиться, что это так. Сомнения вызывает степень оформленности и продуманности «истории», которая в модели Шмида (строящейся по закону таксономической иерархии) мыслится в отдельности от «поверхности текста».

⁴ Ср. определение фабулы Б. В. Томашевским: «совокупность мотивов в их логической причинно-временной связи» [Томашевский 1925: 137].

твердое знание о том, как именно жилось Дуне в Петербурге, отчего Сильвио не стрелял в графа и т. д.

В указанном значении «история» выглядит категорией чрезвычайно спорной — даже применительно к самым что ни на есть реалистическим произведениям. Будь справедливо допущение, что связную «историю», внятную во всех психологических поворотах и моральных оценках, можно вот так «вылущить» из текста, — тогда, например, известное высказывание Толстого, что на вопрос о смысле «Анны Карениной» ему остается только повторить роман с начала до конца, следовало бы приписать всего лишь идейному банкротству «биографического автора» Л. Н. Толстого⁵. В еще большей степени это касается произведений дореалистической и постреалистической / модернистской прозы.

Для демонстрации продуктивности своей модели немецкий исследователь выбрал материал, на мой взгляд, подчеркивающий не сильные ее стороны⁶, а скорее изъяны. Будучи применен к «Повестям Белкина», опробуемый метод споткнулся об известное «коварство объекта»: вычленив искомую психологически связную «историю» в данном случае особенно затруднительно, потому что эти тексты — по крайней мере в самой общей своей установке — ориентированы на передачу кем-то услышанных и зафиксированных обрывков сведений о человеческих жизнях, во всей их противоречивости, несведенности в единую картину. Интерпретационные натяжки⁷ предстают, таким образом, не случайной осечкой герменевтической интуиции, а системной ошибкой, вытекающей из постулирования (обязательного) присутствия в глубине текста логически внятной «истории»⁸.

Напрашивается еще и тот общеизвестный аргумент, что для Пушкина в болдинском цикле был особенно важен анекдотический характер фабул — т. е. краткость событийных каркасов, отсутствие психологической проработки. Важным в пушкинском обращении с общеизвестными фабулами было нарушение привычной схемы событий и в большинстве случаев — неожиданные развязки. Из признания справедливости этого тезиса никак не следует, что, резко меняя ход событий,

⁵ Позволим себе небольшой экскурс в область традиционного, а не «идеально-типического» генеративного подхода. Для всякого, кто имел дело с писательскими планами, крайне сомнительно, что предполагаемая моделью Шмида (пусть на «идеальном» уровне) тщательно продуманная «история» вообще существует до словесного оформления текста. Работая над повествовательным произведением, писатель, естественно, должен (хотя бы в опорных точках) представлять себе, что там «случится». Однако от наметки хода событий, подчас крайне лаконичной и для постороннего взгляда невразумительной, в большинстве случаев очень скоро осуществляется «перескок» к наброскам сцен; характеры обнаруживают себя в начинающих оформляться эпизодах, т. е. уже на уровне вербальной «поверхности текста».

⁶ Для некоторых других групп текстов (например, детективного склада или произведений, играющих с фигурой «недостовверного рассказчика») такая модель выглядела бы более убедительной.

⁷ Прежде всего интерпретации «Выстрела» и «Станционного смотрителя» выдают желание исследователя во что бы то ни стало обнаружить однозначный, закрепленный моральный и / или психологический итог изложенных (или конструируемых?) «историй». Ср., впрочем, некоторые корректуры, вносимые Шмидом в собственную интерпретацию «Выстрела» [Шмид 1996: 194–195]; показательно, что этот процесс саморедактирования осуществляется в диалоге с идеями Марковича.

⁸ Ср. критику интерпретаций Шмида Бочаровым. Хотя и не касаясь модели «нарративных трансформаций» как таковой, Бочаров справедливо ставит в вину немецкому исследователю непонимание того, что пробелы (именно как незаполненные и незаполнимые смысловые пропуски) могут принадлежать к самой конструкции смысла художественного текста [Бочаров 1999].

автор (в данном случае «биографический») должен был во всех деталях представлять себе психологическую подоплеку получившейся «истории».

6

С учетом сказанного выше понятным становится также различие между Шмидом и Марковичем в отношении «новаторства» или «традиционности» предлагаемых ими прочтений.

Так как Шмид полагает, что содержащаяся в тексте «история» не только (и не столько) явлена на «вышележащих» ступенях нарративных трансформаций, сколько намеренно затемнена используемыми на этих уровнях приемами, то, соответственно, он обнаруживает склонность к тому, чтобы пытаться «открыть» некий смысл, доселе ото всех скрытый. Отсюда — стремление к интерпретациям как можно более неожиданным.

Автолегитимации подчеркнута новаторских прочтений, по всей вероятности, содействует и типичное для сторонника «жесткого» структурализма убеждение в **правильности** избранной методологии: если методология верна, стало быть, достигнутые с ее помощью интерпретационные результаты тоже должны быть верными, — пускай многим поколениям читателей Пушкина подобные толкования не приходили в голову. Не следует ли из такого положения дел нечто иное? А именно: сомнительность предложенных толкований, как и лежащей в их основе методологии.

При том, что Шмид решительно отмежевывается от тех умозрительных попыток обнаружить в произведениях Пушкина «скрытый смысл», какие были особенно типичны для околосимволистской критики начала XX в., настораживает очевидное сходство его метода именно с подобными опытами. Для Шмида, как, например, для М. О. Гершензона, целью интерпретации тоже является нечто **спрятанное** за текстом, однако ведомое автору. «Абстрактному автору», который, однако, в итоге всякий раз обнаруживает подозрительное сходство с (если позволительно так выразиться) «биографическим интерпретатором». Считая свой аналитический метод объективно-научным, Шмид на деле оказывается не менее подвержен опасности анахронических толкований Пушкина, чем критики Серебряного века, и при том, к сожалению, остается нечувствителен к предпосылочности собственного мышления⁹.

⁹ Очевидно, не отдавая себе в том отчета, Шмид исходит в своих реконструкциях «подлинных» историй пушкинских героев из ментальных привычек, присущих человеку современного западно-европейского общества. Например, в его интерпретации «Станционного зрителя» острота социальной коллизии, по сути, игнорируется; вся ситуация начинает выглядеть так, будто Дуня — это что-то вроде шустрой «о-пэр», выскочившей замуж за молодого человека из приличного семейства (ср. остающуюся и поныне справедливой критику подобных — на первый взгляд не затронутых «социологизмом», но при ближайшем рассмотрении обнаруживающих несомненную социальную тенденциозность — толкований «Станционного зрителя» Н. Н. Петруниной [Петрунина 1987: 130–131]). Не менее характерным для человека буржуазного (бюргерского) общества является — в анализе «Выстрела» — непонимание того, что означает для графа (дворянина и офицера) сделанный им повторный выстрел по Сильвио. Типично для современного немца также убеждение в «неполиткорректности» участия Сильвио в войне этеристов против турецкого владычества на Балканах.

При сопоставлении с подчеркнута новаторскими интерпретациями Шмида может показаться, что осуществляемое в статье Марковича следование за смысловыми поворотами пушкинского сюжета не включает в себе чего-то ошеломляюще нового. В движении его собственной интерпретаторской мысли заметна та же особенность, которую он описывает как свойство смыслопорождения в болдинских повестях: подобно тому, как рождение смысла у Пушкина совершалось в движении от одного известного претекста к другому, ни с одним из них не совпадая, так и мысль Марковича движется от одного наблюдения, уже сделанного кем-либо из предшественников, к другому, — и тем не менее смысл возникающего прочтения все равно нов, ни с одной из прежних интерпретаций он не совпадает. У читателя работы Марковича легко может возникнуть иллюзия того, будто предлагаемая интерпретация — нечто простое и естественное, само собой разумеющееся. В известном смысле так оно и есть, — при том, что простота и естественность протекают в данном случае не из отсутствия новизны, а из адекватности прочтения интерпретируемому тексту.

7

Наконец, отметим еще одно различие подходов Марковича и Шмида. Перед нами — две разные модели действительности, вернее два разных представления о «жизнеподобии». Шмид мыслит себе скрывающуюся за текстом «историю» как миметический аналог «жизненных» историй; притом неотъемлемой составной частью жизненной убедительности является в его представлении связность концепции характеров, внятность психологических мотивировок поступков. Напрашивается, однако, следующее возражение: предполагаемое подобной интерпретационной моделью полное знание (автора) о внутренней и внешней биографии героя является вовсе не аналогом нашего знания о реально происходящем вокруг нас, а скорее конструктом. В реальной жизни нам не дано столь непротиворечивого знания о душевной биографии других людей (да, впрочем, и самих себя). К тому же существование объективных и связанных историй душевной жизни персонажей не является универсальным свойством литературных произведений; оно типично лишь для сравнительно небольшого отрезка в развитии повествовательной литературы — прежде всего для реализма середины XIX в. (И. А. Гончаров, И. С. Тургенев и т. д.)¹⁰.

Для Марковича «жизнеподобной» является именно **ограниченность** нашего знания. Он подчеркивает, что наши возможности угадать происходящее в душах пушкинских героев приближены к реальным границам наших возможностей понимания «действительно существующих живых людей»: «С ним<и> устанавливаются, как и в действительной жизни, непосредственные и подвижные отношения, связанные именно с <их> живой незавершенностью» [Маркович 1997: 42]. Словно бы в прямой полемике со Шмидом Маркович отмечает (в данном случае примени-

¹⁰ Ср. замечание А. Нюннинга, что осуществлявшееся нарратологами-структуралистами (в том числе Шмидом) применение концептов, заимствованных из теории коммуникации, к вычленению различных инстанций и уровней в литературных текстах основывалось на наивно-реалистических, миметических посылах [Nünning 1998].

тельно к Бурмину, однако этот вывод справедлив и для других героев белкинского цикла):

«...Точки над „и“ не поставлены, связной и ясной „истории души“ повесть не создает. <...> Все выводы и предположения возникают уже за пределами текста <...>. Подобный смысл неизбежно ощущается читателем как его, читателя, собственная версия (пусть и правильная), образ все-таки остается по ту сторону интерпретации, сохраняя известную долю загадочности и разноречивости деталей» [Маркович 1997: 50].

Цитата эта подтверждает то, о чем говорилось выше: если Шмид полагает, что связные и непротиворечивые «истории души» героев (необходимо) скрываются в глубине самого текста и, соответственно, могут быть аналитически вычленены, то для Марковича подобные связные «истории» являются не внутритекстовой величиной, а конструктами читателя.

8

Оглядываясь на развитие российского пушкиноведения 1990–2000-х годов, нельзя сказать, чтобы на этом этапе были интегрированы и «сняты» все прежние интуиции и методологические наработки последних советских лет. Именно в позднесоветское время были достигнуты важные прорывы в осмыслении поэтики Пушкина. Это относится не только к работам В. М. Марковича — достаточно упомянуть С. Г. Бочарова, И. Л. Альми, В. А. Грехнева, Ю. Н. Чумакова, позднего Ю. М. Лотмана. Происшедший на рубеже 1980–1990-х годов идеологический раскол в российской интеллигенции повлек за собой полемические спрямления и упрощения, в том числе применительно к толкованиям творчества Пушкина, причем это касается обоих враждовавших (и враждующих) лагерей.

Включение в российский литературоведческий контекст переведенных в 1980–1990-е годы интерпретаций Шмида было одним из катализаторов, усугубивших подобный «раскол». Некоторые российские интерпретаторы Пушкина считали своим долгом высказывать протесты с моралистически-христианских позиций; другие либо искренне поддались обаянию новизны, либо — даже замечая интерпретационные натяжки — предпочитали их игнорировать, считая, что преимущества подключения к международному научному дискурсу искупают (якобы несущественные) «огрехи» в толкованиях отдельных текстов отечественной классики. К тому же все «креативное», «провокативное» и «субверсивное» было, что называется, «в тренде».

Тезисно рассмотренная выше констелляция «Маркович vs. Шмид» лишний раз демонстрирует, что бывают такие случаи, когда форсированное привнесение в филологическую традицию одной страны методологических разработок, идущих из совершенно иной научной (и культурной) традиции, несет с собой не одни лишь преимущества. И дело здесь не сводится к той старой мудрости, что смена «старого» на «новое» неизбежно связана не только с выигрышами, но и с потерями. В данном случае, как я старалась показать, сами атрибуты «старое» и «новое» распределяются более сложным образом. По сути методологический подход, предложенный в 1987 г. Марковичем, был гораздо более созвучен **новым** поискам в международ-

ной теории литературного повествования конца 1980-х годов, чем подход Шмида, разработки которого были новы только для российского литературоведения рубежа 1980–1990-х годов, а на деле принадлежали уже отходившему в историю структуралистскому этапу 1960–1970-х годов.

Литература

- Бочаров 1999 — Бочаров С. Г. *Сюжеты русской литературы*. М.: Языки русской культуры, 1999.
- Маркович 1989 — Маркович В. М. «Повести Белкина» и литературный контекст: К проблеме: классика и беллетристика. *Пушкин: Исследования и материалы*. 1989, 13: 63–87.
- Маркович 1997 — Маркович В. М. *Пушкин и Лермонтов в истории русской литературы*. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского гос. ун-та, 1997.
- Маркович, Шмид (ред.) 1993 — Маркович В. М., Шмид В. (ред.). *Русская новелла*. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского гос. ун-та, 1993.
- Маркович, Шмид (ред.) 1996 — Маркович В. М., Шмид В. (ред.). *Автор и текст*. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского гос. ун-та, 1996.
- Маркович, Шмид (ред.) 2001 — Маркович В. М., Шмид В. (ред.). *Парадоксы русской литературы*. СПб.: ИНАПРЕСС, 2001.
- Маркович, Шмид (ред.) 2005 — Маркович В. М., Шмид В. (ред.). *Существует ли Петербургский текст?* СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского гос. ун-та, 2005.
- Петрунина 1987 — Петрунина Н. Н. *Проза Пушкина: (Пути эволюции)*. Л.: Наука, 1987.
- Томашевский 1925 — Томашевский Б. В. *Теория литературы*. Л.: Госиздат, 1925.
- Шмид 1989 — Шмид В. Проза и поэзия в «Повестях Белкина». *Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка*. 1989, 48: 316–327.
- Шмид 1994 — Шмид В. *Проза как поэзия: статьи о повествовании в русской литературе*. СПб.: Академический проект, 1994.
- Шмид 1996 — Шмид В. *Проза Пушкина в поэтическом прочтении: «Повести Белкина»*. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского гос. ун-та, 1996.
- Шмид 1998 — Шмид В. *Проза как поэзия: Пушкин; Достоевский; Чехов; авангард*. 2-е изд., испр., расшир. СПб.: ИНАПРЕСС, 1998.
- Шмид 2003 — Шмид В. *Нарратология*. М.: Языки славянской культуры, 2003.
- Bordwell 1985 — Bordwell D. *Narration in the Fiction Film*. Madison: University of Wisconsin Press, 1985.
- Jahn 1997 — Jahn M. Frames, Preferences, and the Reading of Third-Person Narratives: Towards a Cognitive Narratology. *Poetics Today*. 1997, 18 (4): 441–468.
- Nünning 1998 — Nünning A. Erzähltheorien. In: *Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie. Ansätze — Personen — Grundbegriffe*. Stuttgart; Weimar: Metzler, 1998, S. 132–133.
- Schmid 1973 — Schmid W. *Der Textaufbau in den Erzählungen Dostoevskijs*. München: Fink, 1973.
- Schmid 1977 — Schmid W. *Der ästhetische Inhalt: Zur semantischen Funktion poetischer Verfahren*. Lisse: De Ridder, 1977.
- Schmid 1982 — Schmid W. Die narrativen Ebenen «Geschehen», «Geschichte», «Erzählung» und «Präsentation der Erzählung». *Wiener Slawistischer Almanach*. 1982, 9: 83–110.

Статья поступила в редакцию 18 апреля 2018 г.

Статья рекомендована в печать 18 июля 2018 г.

**Two different approaches to interpreting *The Tales of the Late Ivan Petrovich Belkin*:
Vladimir M. Markovich and Wolf Schmid**

For citation: Potapova G. E. [Two different approaches to interpreting *The Tales of the Late Ivan Petrovich Belkin*: Vladimir M. Markovich and Wolf Schmid]. *Vestnik of Saint Petersburg University. Language and Literature*. 2018, 15 (4): 570–581. <https://doi.org/10.21638/11701/spbu09.2018.405> (In Russian)

The article deals with the comparison of two approaches — by Vladimir M. Markovich and by Wolf Schmid — to the study of *The Tales of the Late Ivan Petrovich Belkin*. The comparison is based on the following criteria: (1) a dynamic examination (Markovich) vs. a static examination (Schmid); (2) conceptualization: reader vs. author. Within the interpretation proposed by Markovich, the generation of meaning is consistently transferred to the reader (the “ideal reader” capable of recognizing pretexts). In Schmid’s model, the generation of meaning ultimately falls within the competence of the “abstract author”; (3) Markovich searches for the meaning of a literary work in the dynamic of the “syuzhet” carried out on the “surface of the text”. Schmid searches for the meaning of a literary work in the “story” (“Geschichte”) hidden behind the text; (4) The attitude in respect to “innovation” or “traditionality” of the proposed readings. Since Schmid believes that the “history” contained in the text is not only (and not so much) manifested in the “overlying” stages of narrative transformations, but is deliberately obscured by the techniques used at these levels, accordingly, he tends to try to “discover” some sense, hitherto hidden; hence — the desire for interpretations as unexpected as possible. Against this background, it may seem that Markovich, following the semantic twists of Pushkin’s plot, does not discover something stunningly new; however, the feeling of a “normal state of things” arises in this case not from the lack of novelty, but from the adequacy of the proposed reading and the interpreted text; (5) Two different concepts of “life-likeness”. For Schmid, an integral part of life-likeness is the coherence of the concept of characters and clear psychological motives behind the actions. For Markovich, “life-like” is a *limitation* of our knowledge. He emphasizes that our ability to guess what is happening to the souls of Pushkin’s heroes is almost identical to the real limits of our ability to understand “real-existing living people”. In addition, the comparison of Markovich vs. Schmid is analysed considering the general situation in literary criticism in Russia of the late 1980s–2000s.

Keywords: Pushkin, *The Tales of the Late Ivan Petrovich Belkin*, narratology, history of scientific methods.

References

- Бочаров 1999 — Bocharov S. G. *Syuzhety russkoj literatury*. Moscow: Yazyki russkoj kultury Publ., 1999. (In Russian)
- Маркович 1989 — Markovich V. M. [“The Belkin’s Stories” and the Literary Context: Towards the Problem “Classics vs. Belletrists”]. *Pushkin: Studies and Primary Texts*. 1989, 13: 63–87. (In Russian)
- Маркович 1997 — Markovich V. M. *Pushkin i Lermontov v istorii russkoj literatury*. St. Petersburg: St. Petersburg State University Press, 1997. (In Russian)
- Маркович, Шмид (ред.) 1993 — Markovich V. M., Schmid W. (eds.). *Russkaya novella*. St. Petersburg: St. Petersburg State University Press, 1993. (In Russian)
- Маркович, Шмид (ред.) 1996 — Markovich V. M., Schmid W. (eds.). *Avtor i tekst*. St. Petersburg: St. Petersburg State University Press, 1996. (In Russian)

- Маркович, Шмид (ред.) 2001 — Markovich V.M., Schmid W. (eds.). *Paradoksy russkoj literatury*. St. Petersburg: INAPRESS, 2001. (In Russian)
- Маркович, Шмид (ред.) 2005 — Markovich V.M., Schmid W. (eds.). *Sushhestvuet li Peterburgskij tekst?* St. Petersburg: St. Petersburg State University Press, 2005. (In Russian)
- Петрунина 1987 — Petrunina N.N. *Proza Pushkina: (Puti evolucii)*. Leningrad: Nauka Publ., 1987. (In Russian)
- Томашевский 1925 — Tomashevsky B.V. *Teoriya literatury*. Leninigrad: Gosizdat Publ., 1925. (In Russian)
- Шмид 1989 — Schmid W. [Prose and Poetry in “The Belkin’s Stories”]. *Izvestiya of Academy of Sciences of the USSR. Literature and Language Series*. 1989, 48: 316–327. (In Russian)
- Шмид 1994 — Schmid W. *Proza kak poeziya: stati o povestvovanii v russkoj literature*. St. Petersburg: Akademicheskij proekt Publ., 1994. (In Russian)
- Шмид 1996 — Schmid W. *Proza Pushkina v poeticheskom prochtenii: «Povesti Belkina»*. St. Petersburg: St. Petersburg State University Press, 1996. (In Russian, transl. from German)
- Шмид 1998 — Schmid W. *Proza kak poeziya: Pushkin, Dostoevskij, Chexov, avangard*. 2nd ed., correct., compl. St. Petersburg: INAPRESS Publ., 1998. (In Russian)
- Шмид 2003 — Schmid W. *Narratologiya*. Moscow: Yazyki slavyanskoj kultury Publ., 2003. (In Russian)
- Bordwell 1985 — Bordwell D. *Narration in the Fiction Film*. Madison: University of Wisconsin Press, 1985.
- Jahn 1997 — Jahn M. Frames, Preferences, and the Reading of Third-Person Narratives: Towards a Cognitive Narratology. *Poetics Today*. 1997, 18 (4): 441–468.
- Nünning 1998 — Nünning A. Erzähltheorien. In: *Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie. Ansätze — Personen — Grundbegriffe*. Stuttgart; Weimar: Metzler Verlag, 1998. S. 132–133.
- Schmid 1973 — Schmid W. *Der Textaufbau in den Erzählungen Dostoevskijs*. München: Fink Verlag, 1973.
- Schmid 1977 — Schmid W. *Der ästhetische Inhalt: Zur semantischen Funktion poetischer Verfahren*. Lisse: De Ridder Verlag, 1977.
- Schmid 1982 — Schmid W. Die narrativen Ebenen «Geschehen», «Geschichte», «Erzählung» und «Präsentation der Erzählung». *Wiener Slawistischer Almanach*. 1982, 9: 83–110.

Received: April 18, 2018

Accepted: July 18, 2018